

Мальчик в белой рубахе

В том же тридцать третьем году случилась в нашей родне страшная и непоправимая беда.

Второе подряд лето выдалось засушливое. Рано вызорились, начали переспевать и осыпаться хлеба. Население села почти поголовно переселилось на заимки — убирать не везде убитую зноем рожь, поджаристую, низкорослую пшеницу с остистым колосом, уцелевшую в логах и низинах.

Улицы села обезлюдели. По ним беспризорно бродили мослатые телята, сипло блажили ссохшимися глотками плохо продоенные детишками и старухами коровы, которые шибко маялись тем летом и мало давали молока. В жару разводится много ос, тварь эту коровы сжевывают вместе с травой, и которую не дожуют, та шибко кусает кишки и брюшину, пока не сдохнет, корова дичает, дергается, перестает есть, теряет молоко. Бабушка стругала в пойло луковки борца, кормила корову с заслонки, чтоб “заслонить” от худого глаза и хворей. Вяло пурхались в пыли несколько куриц возле нашего двора. Шарик вырос и стал себя вести беспокойно, ночами за околицей были одичавшие собаки, он подвывал им. порой переходя на горькое рыдание, — сердце рвало, вот как он рыдал, накликаая, по мнению бабушки, неминуемую беду.

И накликал.

Верстах в шести от села, на Фокинском улусе, страдовала тетка Апроня, оставив дома ребятишек: Саньку, Ванюху и Петеньку. Саньке весной пошел седьмой год, у Ванюхи на исходе шестой, Петеньке и четырех еще не минуло.

Вот эта-то компания, задичавшая без взрослого присмотра и стосковавшаяся по родителям, решила податься на пашню к матери. У мужчин такого возраста колебаний, как известно, не бывает, и коли они что замыслили, то уж непременно и осуществят.

Каким образом шла троица парней, где сил набралась и бесстрашия -объяснить трудно. Может, и впрямь Всевышний ей пособил добраться до места, но скорее всего — смекалка деревенских детей, сызмальства привыкших жить своим трудом и догадливостью.

На пути мальчишки преодолели горную речку, пусть и мелкую, но с завалами; затем — таежную седловину с каменными останцами и горбатинами, пока скатились по обвальному спуску в ущелье, где нет воды, но дополна раскаленного острого камешника, принесенного потоками во время

вешпеводя, миновали раскаленное ущелье, уморившее в камнях траву и все живое, кроме змей и ящерок. Ниточка дороги, разматываясь, привела их на убранные покосы, затем — в пыльные, проплешисто зажелтевшие овсы.

Долго еще оборачивались ребяташки назад, на тайгу, на ущелье, радуясь тому, что выбрались они на свет, и хотя их мучил зной, идти сделалось веселей. И они добрались-таки до заимки, попили студеной водицы, заботливо охлопали пыль с головы и с рубахи младшего братишки, присели отдышаться в холодке, под навесом, крытым чапыжником и соломой, да и задремали.

Очень устали Санька и Ванюха — поочередно несли в гору Петеньку на закукорках. А он такой тяжелый — долго грудь тянул, вот и набузовался пузан молочком-то мамкиным. Ближе к заимке, когда Петенька начал садиться в пыль и хныкать, отказываясь следовать дальше, мальчишки увлекали его разными штуковинами, виднеющимися впереди: то суслика показывали, попиком стоявшего у норы, то пустельгу, парящую над сухо шелестящим лугом, то дымящуюся в скалистом провале чистоводную Ману, в которой сколько хочешь холодной-прехолодной, сладкой-пресладкой воды, и надо только ноги быстрее переставлять, как сей же момент окажешься на берегу, попьешь и побрызгаешься.

Но настала пора, когда ребенок совсем выбился из сил и никакие уговоры и заманивания на него не действовали. Он плюхнулся на дорогу решительно и молча. И тогда смекалистые парнишки употребили последнее средство: они показывали ему на желто скатывающуюся с крутого косолобка полосу, где виднелись работающие люди: “Мама там. Она теплую шанежку и шкалик молочка Петеньке припасла”.

Петенька сразу этому поверил, сглотнул слюну, поднялся, дал братьям руки и, с трудом переставляя разбитые ноги, двинулся к Фокинскому улусу.

Забыли братья обманную уловку, а Петенька помнил и про маму, и про шанежку, и про шкалик с молоком, и, когда братья сморенно заснули под навесом, он вышел за ворота заимки, подрубив ладошкой ослепляющий свет закатывающегося к вечеру солнца, высмотрел желтую полосу и потащился туда. Там и на самом деле жала рожь и вязала снопы его мать.

Не ведала, не знала она, что явились самовольно на заимку ее сыновья-разбойники и младшенький к ней потопал. И притопал бы, да попал он в водомоину, что тянулась вдоль дороги. В рытвине той было мягко ногам -песок в ней и мелкая галька. Чем выше поднималась водомоина, тем уже и глубже делалась она, и по подмытому ли, обвалившемуся закрайку, по внешнему ли желобку, пробитому снеговицей к придорожной канаве, Петенька убрел от

дороги.

Не угодил он на расплеснувшегося по горному склону полюсу жита, где до звона в голове пропеченная солнцем, оглохшая от усталости хруско резала серпом ржаные стебли его мать, в узелке под кустиком хранилась припасенная Петеньке картовная шанежка и кринка пахучей лесной клубники, утром по росе набранной.

Скорей бы упряг одолеть, скорей бы солнце закатилось — и жница с поля напрямки побежит в село через гору — гостинец ребятишкам принесет. То-то радости будет! Как-то они там, соловьи-разбойники? Не подожгли бы чего. В реке не утонули бы...

Обычные крестьянские думы и тревоги, укорачивающие знойный день, гасящие время, скрашивающие нудь однообразного нелегкого труда. Нет, не предсказывало материнское сердце беды. Глохнут, притупляются чувства и предчувствия у тяжело уставшего человека. Лишь праздным людям снятся диковинные сны и мучают их сладкие, загадочные или тревожные предчувствия.

Она связала свою норму снопов, составила их в суслоны и выпрямилась, растирая задубевшую поясницу, думая о том, что в дороге, глядишь, разомнется, как к речке спустится, лицо и ноги ополоснет — совсем от одури очнется...

И тут она увидела Санькину кудлатую голову в недожатках, за Санькой и Ванюха вперевалку тащился. Рубаха у него будто выкушена на брюхе, даже криво завязанный пупок видать. Старшенького Мухой кличут — легкий он, жужливый, непоседливый. Ванюха воловат, добр, песни петь любит, но как разозлится -почернеет весь, ногами топает, руку себе кусает. Быком его дразнят. У младшенького нет пока ни характера, ни прозвища. У него еще и хрящик-то не везде окостенился. Он и грудь-то материнскую вот только-только перед страдой мусолить перестал...

— Парни-то мои идут! Ножонками чапают! Муха-то моя жужжит, ягоду медову ишшет. Бычок мычит — молочка хочет! — запела мать, встречая сыновей и на ходу выдавливая им носы, смахивала пыль со щек, рубашонки застегивала, узелок свой разобрала: шанежку разломила, по кусочку ребятам сунула, ягод в потные ладошки сыпанула — ешьте, милые, питайтесь, славные. Как там малый-то наш, несмышлениш-то, без матери живет-поживает?

— А он к тебе ушел...

Много дней кружила мать вокруг полей, кричала, пока не обезголосила и не свалилась без сил наземь. Колхозная бригада рыскала по всем окрестным

лесам. После всем селом искали Петеньку, но и лоскутка от рубахи мальчика не нашли, капельку крови нигде не увидели.

— Взял его, невинного и светлого, к себе во слуги-ангелы Господь Бог, — заверяли падкие на суеверия и жуткую небылицу старухи.

Тетка моя, потрясенная горем, заподозрила в худом соседей, якобы имевших на нее “зуб”, вышел-де несмышлениш-парнишонка на покос, там собаки соседские, и бросился он от них бежать. А от охотничьих собак бегать нельзя. Разорвали они мальчика. Вот соседи-то шито-крыто и сделали; под зарод, который метали в те поры, ребенка положили, зимою, когда сено вывезли, в снег его перепрятали, и там уж его зверушки доточили.

Но мужики прежде, задолго до жатвы, к Ильину дню, ставили сена на место, и не могли соседи быть в лугах, да и лайки сибирские — разумные собаки, никогда на людей, тем более на детей, не бросаются, разве что бешеные.

Внуков вынянчила моя тетка от Саньки и Ванюхи: много повидала она за свою нелегкую жизнь, близких людей сколько теряла и хоронила — не счесть; двух мужей, отца, мать, сестер, братьев и малых детей приходилось провожать на тот свет. Однако поминает она их редко, оплачет, как положено, в родительский день на кладбище и успокоится. Оплаканы, преданы земле люди — значит, душа их успокоена, на своем вечном она месте.

Но где же, в каких лесах, в каких неведомых пространствах беспризорно бродит неприютная детская душа?..

Сорок с лишним лет минуло, но все слышит мать ночами легкие босые шажки, протягивает руки, зовет, зовет и не может дозваться маленького сына, и сон ее кончается всегда одинаково: ввысь, по горной дороге, меж замерших хлебов, осиянный солнечным светом, уходит от нее маленький мальчик в белой рубахе...